

Елена  
Арсеньева

Госпожа  
сочинительница



ИСТОРИЧЕСКИЕ  
НОВЕЛЛЫ  
ЛЮБВИ

**Елена Арсеньева**  
**Обманутая снами**  
**(Евдокия Ростопчина)**  
Серия «Госпожа сочинительница»

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=161325](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=161325)*  
*Арсеньева Е. Госпожа сочинительница: Эксмо; Москва; 2005*  
*ISBN 5-699-13155-8*

**Аннотация**

Главное предназначение женщины – заботиться о муже и детях, вести домашнее хозяйство. А если этого мало? Если в сердце горит огонь творчества, если любовное чувство выражается в виде поэтических строк? Для таких дам один путь – заняться литературой. Но на этом пути встречается столько терний и невзгод, что судьбам поэтесс позавидовать трудно. И все же – они прекрасны! О том, как жили и творили Зинаида Гиппиус, Каролина Павлова, Марина Цветаева и другие, прославившие себя в веках поэтессы, читайте в исторических новеллах Елены Арсеньевой...

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

26

# Елана Арсеньева

## Обманутая снами

### (Евдокия Ростопчина)

Я знала, она погубит тебя! Я это знала всегда!

Графиня Евдокия резко села и уставилась на сияющий в углу огонек. Не сразу поняла, что это слабо светится лампадка, которая одна рассеивала ночную тьму спальни. Почудилось, именно этот блик она только что видела во сне. Он привиделся отблеском солнечного сияния, который заиграл на обнаженном лезвии кривой сабли...

«Ятаган, – вспомнила графиня Евдокия, – эта сабля называется – ятаган».

Кривой ятаган взлетел над головой окровавленного, покрытого пылью человека... русского офицера, и Евдокия Петровна отчетливо разглядела его исполненное отчаяния лицо. Только что на его глазах погиб почти весь его отряд, и к этой гибели людей привел он, его безрассудство, его самонадеянность!

Турок спрыгнул с коня и, выставив саблю, подошел к обезоруженному русскому. Блеск золота привлек его взгляд. Потянулся сорвать с шеи золотой медальон. И внезапно измученный, полуживой офицер вскочил, выхватил у турка саблю и ударил его по голове:

– Не тронь, поганая собака! *Это* ты возьмешь у меня только с жизнью!

Мгновение остальные турки стояли в оцепенении, потом бросились на офицера. Он был уже давно мертв, а они все рубили и кололи окровавленное тело...

– Это сон, – едва шевеля пересохшими губами, пробормотала Евдокия Петровна. – Это всего лишь сон. Страшный, кошмарный, но не пророческий. Нет, он не может быть пророческим!

Соскочила с постели, босиком добежала до икон, упала перед ними на медвежью шкуру, где ее коленями шерсть была протерта до белизны:

– Матушка Пресвятая Богородица! Господи Иисусе Христе! Пусть этот сон не сбудется, никогда не сбудется!

Однако не зря друзья называли ее Ясновидящей и она даже подписала этим псевдонимом некоторые свои повести... Сердце, ее любящее сердце, которое всегда становилось вещим, когда дело касалось *этого человека*, так и сочилось болью, так и кровоточило предчувствием: кошмарный сон уже сбылся, тот, кого она любила всю жизнь, из-за кого приняла столько мук и с которым испытала столько счастья, уже покинул сей мир, его больше нет, нет на свете, Евдокия никогда больше не увидит его... И как же невелико утешение, что его больше никогда не увидит та, другая, ставшая причиной их разлуки, их вечной разлуки, надолго превратившая жизнь Евдокии в одну сплошную тоску и печальные воспоминания,

тщательно скрывааемые под сверкающим светским нарядом!

Словно бы звон колокольный, погребальный услышала  
она над могилами множества несбывшихся надежд...

Он томно загудел, торжественный, неожиданный.  
В необычайный час;  
Он мой покой прервал, и мигом сон желанный.  
Прогнал от жарких глаз.  
Мне сладко грезилось, волшебные виденья.  
Носились надо мной.  
Сменив дня знойного тревоги и волненья.  
Отрадной тишиной.  
Мне сладко грезилось, и вдруг вот он раздался.  
Неумолимый звон...  
Как жалобный набат, он в сердце отзывался.  
Как близкой смерти стон...  
Невольный, чудный страх мне душу обдал хладом.  
Мне мысли взволновал.  
Земные бедствия в картинах мрачных рядом.  
Мне живо рисовал...  
Боязнию и тоской я долго трепетала.  
Мой дух был омрачен;  
Больная голова горела и пылала...  
Не возвращался сон!  
Луны волшебный свет над садом ароматным.  
Полуденная ночь.  
И вам не удалось влияньем благодатным.  
Дум грустных превозмочь!..  
Меня предчувствие злоещее томило.

Как будто пред бедой...

Как будто облако всю будущность затмило.

Пред гибельной грозой.

Она простерлась ниц, уткнулась лицом в колючий мех. Длинная, заплетенная на ночь коса (волосы у нее были такого же коричнево-бурого цвета, как этот мех) упала с головы и свернулась на шкуре, словно блестящая тяжелая змея. Лицу было душно, жарко, она чувствовала, что из глаз льются слезы, рыдания разрывали горло, но она глушила их, чтобы не потревожить мужа. Его спальня была за стенкой, и спал он необычайно чутко. Если проснется, непременно придет и спросит, что за беда, и от него не отговоришься так запросто: сон-де страшный приснился, он досконально знает все тревоги, все муки, тайные и явные, своей блестящей жены, светской дамы, знаменитой поэтессы и романистки, знает, что за горе проложило морщинки в углах ее губ, тени под глазами, знает о ней столько, сколько не следовало бы знать мужу о своей жене... Он даже знает имя человека, по которому Евдокия сейчас плачет.

Так странно сошлось, что и мужа, отца ее единственного сына, и любовника, отца двух ее дочерей, звали одинаково – Андрей.

Евдокия была замужем за сыном знаменитого московского градоначальника Федора Ростопчина, фаворита царство-

вания императора Павла, любимца императора Александра, друга Кутузова. Того самого Ростопчина, который некогда отдал приказ сжечь Москву и даже сам подал пример этому, когда поджег свое знаменитое Вороново. Это было нужно прежде всего затем, чтобы уничтожить верфь, на которой строился секретный летательный корабль: его намечено было использовать в боевых действиях против французов.<sup>1</sup>

...Когда Додо (таким уменьшительным именем звали Евдокию дома) Сушковой представили на бале графа Андрея Федоровича Ростопчина, она решила, что это поживший, много уже испытавший человек лет тридцати. Изрядная плешь делала этого кавалергарда похожим на провинциального барина.

Однако в разговоре новый знакомец показался Додо очаровательным, хотя и изрядно ортодоксальным. Был он немало изумлен, узнав, что Додо пишет стихи.

Как ей надоело выслушивать подобные изумленные восклицания, если бы только кто знал! Додо частенько смотрелась в зеркало и давно усвоила, что она весьма привлекательна со своими черными, с темно-бурым отливом волосами и яркими карими глазами, со своими подвижными бровями, своевольным, выразительным ртом. Да, она хороша собой. Но разве очарование, красота, прелесть – непременно за-

---

<sup>1</sup> Строительство такого летательного корабля в 1812 году – исторический факт. Недостроенная «лодка-самолетка» была перевезена в Нижний Новгород, оттуда – в Прибалтику, однако применить ее на практике так и не удалось.

логи глупости, бездарности? Разве писать стихи – такой уж нонсенс?

А впрочем, многие из ее знакомых барышень не способны не просто сложить стихотворение, но и подобрать хоть одну рифму к слову «любовь». Если это не «морковь» и не «кровь», конечно. Нечего удивляться, что граф Андрей Федорович таращится на нее с таким выражением: ведь дома вообще стыдились ее таланта.

Это было странно и тем паче странно, что выросла Додо в совершенно творческой семье. Да, отец ее, Петр Васильевич Сушков, был всего-навсего начальником таможни в Оренбурге (мать умерла так рано, что Додо и младшие братья ее и не помнили), но он писал неплохие стихи. А воспитывалась она в Москве, в семье своего деда Пашкова. Занятия литературой были здесь традиционными: бабка Додо, урожденная Храповицкая, перевела «Потерянный рай» Мильтона; дядя, Николай Васильевич Сушков, был довольно известным литератором...

Впрочем, Пашковы на внуков мало обращали внимания: жили светской жизнью и думали только о себе. Девочка была поручена гувернанткам, которые часто менялись; лишь одна из них, русская, воспитанница Смольного института (он в то время больше всех других учебных заведений в России соответствовал началам истинного воспитания), оказала благотворное, хоть и недолго длившееся влияние на свою подопечную. Учили Додо так, как полагалось учить светскую

барышню, которой назначено судьбой блистать в обществе, всему понемножку: Закону Божьему, русскому, французскому и немецкому языкам, рисованию, музыке, танцам, слегка – истории и географии, начаткам арифметики (*un peu de mythologie, un peu de geographie,*<sup>2</sup> как шутили в те времена).

Впрочем, это довольно-таки бездушное воспитание не слишком сказалось на Додо и не сумело ее испортить. Больше всего с ранних лет она любила думать. Думать – и плакать над своими мыслями.

...Дитя уже страдать могло.  
И слезы горячие тайком.  
На лилии и розы роняло часто.  
Объяснить само себе.  
Не могли их причины,

– напишет она позднее о своем детстве.

Особенная тоска брала Додо в сумерки, когда вокруг ... торжественно сливаясь в гул единый.

Колоколов несчетный звон гудел.  
И день, кончаясь тихо, вечерел...  
И чудный гул, и многовещий звон.  
Ребенка душу поражал.  
Как будто к жизни дальней призывали.  
К борьбе его... Вперед стремился он!

---

<sup>2</sup> Немножко мифологии, немножко географии (*франц.*).

Грядущее с насмешкой и угрозой.  
Страшилищем вставало перед ним...

Впрочем, Додо с интересом готовилась к встрече с этим «страшилищем» – своим женским будущим. У нее была блестящая память, ей все в жизни было любопытно, особенно игры словесные (их переборы влекли ее побольше, чем музыкальные, и учителям пения и нотной грамоты было на что пенять в отличие от учителя русской словесности, который пребывал в восторге от дарований своей ученицы). Додо стала писательницей тогда же, когда научилась читать: такое бывает, это или есть в человеке, или нет. А читала она очень много, особенно Пушкина и Байрона (его стихи она особенно часто будет ставить эпиграфами к своим грядущим поэтическим опусам). Первое ее стихотворение (пиитическая пьеса, как говаривали в те давние времена) было ода Шарлотте Корде, убийце кровавого чудовища Марата, главного злодея Французской революции, память о которой была тогда (Додо родилась в 1811 году) еще свежа. Ода сия, конечно, вышла подражанием знаменитому французскому поэту Андре Шенье (да это не в укор юному автору сказано, ему в подражание и Пушкин писал!), однако Додо осталась ею недовольна, и, как полагается истинной поэтессе, раздираемая сомнениями, со слезами бросила в огонь свой первый неудачный опыт.

Это надолго опечалило ее и преисполнило неуверенности

в себе, однако не отворатило от пера и бумаги. Вообще стихосложение постепенно сделалось главной страстью ее жизни. На счастье Додо, она родилась и выросла в роскоши и довольстве, ей не пришлось растрачивать по мелочам свои силы и дарование в иссушающей душу борьбе за кусок хлеба. У нее всегда был досуг, возможность уходить в себя, мечтать, и это еще сильнее обостряло ее восприимчивость к жизни. Ей было девятнадцать, когда бывавший у Пашковых известный литератор и друг Пушкина князь Петр Вяземский прочитал ее стихи и был приятно поражен ими. Одно из них, «Талисман», он тайно от автора напечатал в альманахе «Северные цветы» за подписью «Д.....а...».

Стихотворение имело успех, но вот тут-то в доме Пашковых началось истинное светопреставление! Бабка и дед юной поэтессы схватились за головы: призраки французских эмансипанок уже мелькали на русском горизонте... изрядно скандальная слава мадам де Сталь пугала российские пределы... Пашковы немедленно принялись винить себя в том, что слишком мало внимания уделяли светскому воспитанию внучки, а потому принялись наверстывать упущенное, надеясь, что успехи на балах и в гостиных должны же отвлечь и развлечь чрезмерно углубленную в себя девицу.

Сначала Пашковы искали для нее общества сугубо утонченного. И вот Додо дебютировала на балу у московского генерал-губернатора князя Голицына и произвела там прекрасное впечатление! Князь Петр Вяземский улучил мгно-

вание, когда суровой бабули не оказалось рядом с юной поэтессой, и предстал пред нею, напомнил о первом знакомстве, о публикации стихотворения «Талисман», а потом сказал:

– Здесь есть некто, кем написано стихотворение под таким же заглавием. И этот ваш поэтический «тезка» очень желает познакомиться с вами, мадемуазель Сушкова!

Додо была прекрасно осведомлена о новинках современной поэзии, а потому немедленно догадалась, что речь идет не о ком другом, как о Пушкине! Она как-то раз видела его случайно несколько лет назад во время масленичного гуляния, однако не была представлена. И вот сейчас свершится чудо, о котором она мечтала!

Состоялось знакомство. Додо робко взирала на божество всякого начитанного русского. Пушкин играл глазами и пытался изображать пресыщенного мэтра, однако это ему плохо удавалось: уж очень мила оказалась дебютантка!

В конце концов он пригласил девицу танцевать, без усилий вскружил ей голову, но мило, осторожно, избежав тех опасных намеков, на которые был мастак. Довольно, что Додо искренне очаровалась им.

Спустя ровно десять лет после этого бала в ознаменование памяти о нем Додо напишет стихи под названием «Две встречи»:

Я помню, на гульбище шумном.  
Дыша веселием безумным.  
И говорлива и жива.  
Толпилась некогда Москва.  
Как в старину любя качели.  
Веселый дар Святой недели.  
Ни светлый праздник, ни весна.  
Не любви ей, когда она.  
Не насладится под Новинским.  
Своим гуляньем исполинским!  
Пестро и пышно убрана.  
В одежде праздничной, она.  
Слила, смешала без вниманья.  
Сословья все, все состоянья.  
На день один, на краткий час.  
Сошлись, другу другу напоказ.  
Хмельной разгул простолюдина.  
С степенным хладом знати чинной.  
Мир черни с миром богачей.  
И старость с резвостью детей.  
И я, ребенок боязливый.  
Смотрела с робостью стыдливой.  
На этот незнакомый свет.  
Еще на много, много лет.  
Мне недоступный... Я мечтала.  
Приподымая покрывало.  
С грядущих дней, о той весне.  
Когда достанется и мне.  
Кусить забавы жизни светской, —

И с нетерпением думы детской.  
Желала время ускорить.  
Чтоб видеть, слышать, знать и жить!..  
Народа волны протекали.  
Одни других они сменяли...  
Но я не замечала их.  
Предавшись лёту грез своих.  
Вдруг все стеснилось, и с волнением.  
Одним стремительным движеньем.  
Толпа рванулася вперед...  
И мне сказали: «*Он* идет!  
*Он*, наш поэт, *он*, наша слава.  
Любимец общий!..» Величавый.  
В своей особе небольшой.  
Но смелый, ловкий и живой.  
Прошел он быстро предо мной...  
И глубоко в воображенье.  
Напечатлелось выраженье.  
Его высокого чела.  
Я отгадала, поняла.  
На нем и гения сиянье.  
И тайну высшего призванья.  
И пламенных страстей порыв.  
И смелость дум, наперерыв.  
Всегда волнующих поэта, —  
Смесь жизни, правды, силы, света!  
В *его* неправильных чертах.  
В его полуденных глазах.  
В его измученной улыбке.

Я прочитала без ошибки.  
Что много, горько сердцем жил.  
Наш вдохновенный, – и любил.  
И презирал, и ненавидел.  
Что свет не раз его обидел.  
Что рок не раз уж уязвил.  
Больное сердце, что манил.  
Его напрасно сон лукавый.  
Надежд обманчивых, что слава.  
Досталась ему ценой.  
И роковой, и дорогой!..  
Уж он прошел, а я в волненьи.  
Мечтала о своем виденьи, —  
И долго, долго в грезах сна.  
*И* мысль моя была полна!..  
Мне образ памятный являлся.  
*Арапский профиль* рисовался.  
Блистал молниеносный взор.  
Взор, выражающий укор.  
И пени раны затаенной!..  
И часто девочке смиренной.  
Сияньем чудным озарен.  
Все представал, все снился *он!*..

## II.

Я помню, я помню другое свиданье:  
На бале блестящем, в кипящем собрание.  
Гордясь кавалером и об руку с ним.  
Вмешалась я в танцы... и счастьем моим.

В тот вечер прекрасный весь мир озлащался.  
*Он* с нежным приветом ко мне обращался.  
*Он* дружбой без лести меня ободрял.  
*Он* дум моих тайну разведать желал...  
Ему рассказала молва городская.  
Что, душу небесною пищею питаю.  
Поэзии чары постигла и я, —  
И *он* с любопытством смотрел на меня, —  
Песнь женского сердца, песнь женских страданий.  
Всю повесть простую младых упований.  
Из уст моих робких услышать хотел...  
Он выманить скоро признание успел.  
У девочки, мало знакомой с участием.  
Но свыкшейся рано с тоской и несчастьем...  
И тайны не стало в душе для него!  
Мне было не страшно, не стыдно его...  
В душе гениальной есть братство святое:  
Она обещает участие родное.  
И с нею сойтись нам отрадно, легко;  
Над нами парит она так высоко.  
Что ей неизвестны, в ее возвышеньи.  
Взыскательных дольных умов осужденья...  
Вниманьем поэта в душе дорожа, —  
Под говор музыки, украдкой, дрожа.  
Стихи без искусства *ему* я шептала.  
И взор снисхожденья с восторгом встречала.  
Но *он*, вдохновенный, с какой простотой.  
*Он* исповедь слушал души молодой!  
Как с кратким участием, с улыбкою друга.

От ранних страданий, от злого недуга.  
От мрачных предчувствий он сердце лечил.  
И жить его в мире с судьбою учил!  
Он пылкостью прежней тогда оживлялся.  
Он к юности знойной своей возвращался.  
О ней говорил мне, ее вспоминал.  
Со мной молодея, он снова мечтал.  
Жалел он, что прежде, в разгульные годы.  
Его одинокой и буйной свободы.  
Судьба не свела нас, что раньше меня.  
Он отжил, что поздно родилась я...  
Жалел он, что песни девической страсти.  
Другому поются, что тайные власти.  
Велели любить мне, любить не его —  
Другого!.. И много сказал он всего!..  
Слова его в душу свою принимая.  
Ему благодарна всем сердцем была я...  
И много минуло годов с того дня.  
И много узнала, изведала я, —  
Но живо и ныне о *нем* вспоминанье;  
Но речи поэта, его предвещанье.  
Я в памяти сердца храню как завет.  
И ими горжусь... хоть *его* уже нет!..  
Но эти две первые, чудные встречи.  
Безоблачной дружбы мне были предтечи, —  
И каждое слово его, каждый взгляд.  
В мечтах моих светлую точкой горят!..

Конечно, как и полагается всякой юной девице, к тому же

– поэтически-мечтательной, Додо в то время была влюблена (Пушкину нетрудно оказалось это угадать!) – в князя Платона Мещерского. Однако молодой человек с недавних пор был женат, то есть на роль жениха для Додо никак не годился. А Пашковы очень хотели поскорей выдать воспитанницу замуж. Ужаснее беспрестанного общения с девицей на выданье может быть только общение с перезрелой девицей, а Пашковы всерьез беспокоились, что их подопечная засидится в девках благодаря «дурной славе» поэтессы. После разговора с Пушкиным Додо еще пуще ударилась в мечтательность и романтичность. Пашковы встревожились и теперь вывозили ее на все балы, какие только объявлялись, не гоняясь за утонченностью приглашаемой публики: были бы на них, главное, приглашаемы в основном люди холостые, а не женатые.

Додо была хорошенькая и имела успех. Позднее ее брат, Сергей Петрович Сушков, так опишет внешность своей сестры: «Она имела черты правильные и тонкие, смугловатый цвет лица, прекрасные и выразительные карие глаза, волосы черные... выражение лица чрезвычайно оживленное, подвижное, часто поэтически-вдохновенное, добродушное и приветливое...»

И тут странным образом выяснилось, что привлекает к Додо молодых людей не только ее прелесть. Это даже брат заметил: «Одаренная щедро от природы поэтическим воображением, веселым остроумием, необыкновенной памятью,

при обширной начитанности на пяти языках, замечательным даром блестящего разговора и простосердечную прямою характера при полном отсутствии хитрости и притворства, она естественно нравилась всем людям интеллигентным».

Не только! Честь потанцевать с Додо Сушковой оспаривали самые завидные кавалеры – как интеллигентные, так и не вполне. Именно к этим последним и принадлежал граф Андрей Ростопчин.

Бывает, молодые люди влюбляются в хорошеньких девушек во время танца. Так случилось и на сей раз. Однако между ними шла не пустенькая болтовня, а разговор, который заинтриговал Андрея Федоровича.

Эту их первую встречу опишет Додо спустя несколько лет в стихотворении «Разговор во время мазурки»:

Смеетесь вы?.. Чему?..

Тому ль, что в двадцать лет.

Разумно я смотрю без грез на жизнь и свет.

Что свято верую я в долг и в добродетель?..

Что совести боюсь, что мне она свидетель.

Всех чувств и помыслов, всех тайн моей души?

Что сохранить себя в покое и тиши.

Я искренно хочу, гнушаяся порока.

Чтоб век мой женщиной остаться без упрека?..

Тому ль смеетесь вы, что сердцу волю дать.

Что участью моей бессмысленно играть.

Я не намерена, страшась волнений страсти;

Что перестала я давно гадать о счастье.  
Мне не назначенном, – и, голову склоня.  
Сказала я себе: «Нет счастья для меня!..»  
Так это вам смешно?!  
Бог с вами!.. Смейтесь, смейтесь!..  
Но только, я прошу, напрасно не надейтесь.  
Лукавой речию мой разум омрачить.  
И сердце женское увлечь и победить.  
Хитросплетенными софизмами своими!..  
Я знаю – мастер вы искусно сыпать ими!..  
Оно в привычку вам, и уж не в первый раз...  
И хоть вы молоды, уж не одна из нас.  
Вам слепо вверилась, забывши честь и клятвы...  
Но я не такова!.. Но с ними вместе в ряд вы.  
Не ставьте и меня!.. Я не шучу собой.  
Я сердцем дорожу; восторженной душой.  
Я слишком высоко ценю любовь прямую.  
Любовь безмолвную, безгрешную, святую.  
Какой нам не найти здесь, в обществе своем!..  
Иной я не хочу!..

Интересная бледность и разочарованность во всех и вся, которую напускала на себя Додо (этакий дамский байронизм!), обворожили графа Андрея потому, что сам он был из числа тех людей, которым все в этой жизни успело до тошноты за какие-нибудь девятнадцать прожитых лет надоесть. Да-да, насчет возраста своего танцевального визави Додо решительно ошиблась. Ему было всего девятнадцать – то есть

он оказался даже младше мадемуазель Сушковой.

Что же он был за человек, граф Андрей Ростопчин? Из какой семьи?

...Жена истового русского патриота Федора Васильевича Ростопчина, Екатерина Петровна, печально прославилась как рьяная католичка и ненавистница православия. Она ненавидела мужа, не в силах была простить его даже после его смерти и вымещала обиды на сыне-подростке Андрее, потакая любым его капризам и заведомо портя его, как только могла.

Она во всеуслышание заявляла: «Покойный муж отнял у меня мои права и отстранил меня от воспитания сына моего, пусть же все зло от его дурного воспитания и поведения падет на его память». В ответ юный неслух не испытывал к матери ни преданности, ни любви, ни страха, ни уважения.

Слухи о тех «методах», которыми «воспитывают» младшего Ростопчина, дошли до императора. Все Романовы испытывали сильнейшее уважение к личности бывшего московского градоначальника и весьма чтили его память. К Екатерине Петровне поступило письмо от высочайшего имени, в котором она уведомлялась о том, что Николай I берет на себя воспитание мальчика в знак особой признательности к заслугам Федора Васильевича Ростопчина: его сын будет устроен в Царскосельский лицей, а затем и в Пажеский корпус.

Графиня спохватилась, что перегнула палку. Ей, которая

преподносит себя всем и каждому как образец католических добродетелей, вдруг оказаться фактически лишенной материнских прав?! Это было постыдно. Она написала государю о том, что просит оставить сына у нее на какое-то время для окончания его «религиозного воспитания». Но этим только подлила масла в огонь. Видеть сына Ростопчина таким же рьяным католиком, какой стала графиня Екатерина, – о нет, это было последнее, чего мог пожелать император!

Николай полагал, что достаточно будет отдалить мальчика от матери – и наилучшие задатки сами возьмут в нем верх. Однако граф Андрей был уже развращен огромным богатством, обладателем которого он осознал себя, увы, слишком рано.

Уже с шестнадцати лет он начал транжирить отцовские деньги – тысячами и десятками тысяч рублей. Он считал себя вправе иметь все, что хотел, и делать все, что хотел. Его бесило лишь то, что несовершеннолетие закрывает ему дорогу к полновластному обладанию наследством Ростопчина.

Как-то раз он случайно оказался в кабинете директора Пажеского корпуса, где хранились метрические свидетельства учащихся. Граф Андрей ни минуты не потерял даром: он мигом нашел свое метрическое свидетельство и тут же исправил дату рождения с 1813 на 1812, чтобы на год раньше вступить в наследные права.

Вот сцена, которая яснее ясного дает представление о его характере. Опекун юного графа был его дядюшка Лонги-

нов. Этому глубоко порядочному человеку было невозможно наблюдать безудержное мотовство мальчишки. А как иначе посмотреть на такое: зимой граф Андрей кормил свою лошадь земляникой! Произошло это так: жена опекуна Мария Александровна Лонгинова отпустила какую-то возмущенную реплику по отношению к юному Ростопчину, и тогда граф Андрей послал камердинера за большим блюдом земляники (оно стоило 150 рублей!) и велел подвести лошадь прямо под окно своей тетушки, чтобы та во всех подробностях видела, как лошадь хрумкает землянику.

Жизнь свою граф Андрей прожигал совершенно привычно и типично: вино, женщины и карты. Вся первая его офицерская зима после окончания корпуса прошла в угаре мотовства и распутства. Когда ему исполнилось семнадцать, он безумно влюбился... в мать одного из своих товарищей. Это была совершенно неудержимая страсть, настолько пылкая, что граф Андрей сделал даме своего сердца предложение. Она была старше его ровно вдвое, и, возможно, этот шаг несколько образумил бы его: он попал бы под присмотр хорошей, порядочной женщины... Но, что называется, не судьба! Венчание не состоялось потому, что в самый разгар ухаживаний полк был отправлен в Польшу для подавления восстания 1830–1831 годов. Граф Андрей Ростопчин участвовал в боевых действиях против мятежников и даже был удостоен наград за воинскую доблесть. На поле брани охота немедля жениться несколько поостыла, ибо забавы удали

молодецкой всегда охлаждают кровь, а граф Андрей смотрел на войну как на забаву.

Он был храб и безрассуден. Жизнь свою готов был с равным равнодушием пропивать, просадить за карточным столом – или потерять на поле боя. Ни она, ни что другое не имело для него вообще никакой ценности.

Вернувшись в Гатчину, где стоял его полк, граф Андрей Федорович полюбил предаваться меланхолии. Выглядело это так: он приходил к старому пруду, тому самому, вокруг которого когда-то прогуливались император Павел в сопровождении Ростопчина-старшего. Андрея же сопровождали два денщика, которые несли по мешку серебряных монет. Один солдат становился слева от господина офицера, другой – справа. И граф Андрей задумчиво швырял рубли в воду, горстями черпая то из одного мешка, то из другого.

Вообще он был страшно одинок. В этой семье понятие о родственных чувствах создалось очень своеобразное. Двоюродная сестра графа Андрея – княжна Голицына – уехала во Францию, где провела всю оставшуюся жизнь в монастыре, пожертвовав ему 60 тысяч рублей. Все ее братья и сестры перешли в католичество, женились и вышли замуж за французов, жили и умерли в Париже.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.